

Елена Дмитриевна Струхан

Зёрна

публицистические и литературно-
критические статьи



Издательские решения
По лицензии Ridero
2018

Время чинить лодки



Одной из заметных последних публикаций сибирского писателя В. М. Мазаева стал рассказ «Без слезы. По-христиански».

Чем он привлек моё внимание? Видимо тем, что еще один региональный автор, путешествуя по дорогим сердцу местам, прикоснулся к теме «Достоевский в Кузнецке».

Сложный и неоднозначно трактуемый литературно-краеведческий сюжет о первой любви Достоевского осмысливали и интерпретировали многие. Достаточно вспомнить Л. А. Никонову, Н. М. Николаевского, М. М. Кушникову и В. В. Тогулева, Л. Г. Сербина, Ю. И. Минералова, А. С. Шадрину, Н. И. Якушина, В. П. Павлова... Теперь в этом длинном списке оказалось и имя Владимира Михайловича Мазаева.

Название рассказа необычно, соткано из двух если не взаимоисключающих, то соперничающих между собой частей. Они отличаются друг от друга и вместе

с тем не способны существовать друг без друга. Так сливаются божественное и дьявольское начала, которые, по мысли Достоевского, всегда находятся в борьбе, а «поле битвы» — «сердца людей».

Оригинальное пунктуационное оформление заглавия (соединение или разделение точкой?) лишь подчеркивает изначальную антиномичность рассказа. Не в этом ли, по Мазаеву, ключ к пониманию Достоевского? Почему «без слезы», но «по-христиански», ведь христианство — это слёзная культура? Почему Достоевский «без слезы», ведь и в биографии писателя, и в мире «униженных и оскорблённых» — реки слёз, горя и страданий?..

Думается, ответы следует искать и в самом повествовании, и в Евангелии, тонкое и деликатное прикосновение к которому начинается с первых строк рассказа. Впоследствии по всему тексту Мазаевым будут посеяны и прорастут евангельские зёрна, что позволит приблизиться к Достоевскому, чье внутреннее перерождение в писателя-христианина началось в Сибири.

На всё воля Божья — гласит библейская мудрость. Прими всё, не ропщи и не плачь понапрасну, непрестанно радуйся. Потому — «без слезы». В Евангелии Христос говорит, что истинный христианин не должен плакать. Ему надлежит стойко пройти все испытания, ведь впереди — царство Божие, где нет ни плача, ни болезней, ни страданий...

А пока следует стоически сносить удары и уповать на целительное в своей простоте и безыскусности
Слово:

«Милый брат Миша, сейчас, в 7 часов вечера, скончалась Марья Дмитриевна и всем вам приказала долго и счастливо

жить (ее слова). Помяните её добрым словом. Она столько выстрадала теперь, что и не знаю, кто бы мог не примириться с ней...». Так вот. Сдержанно. Без слезы. Смиренно. По-христиански. У ВЕЛИКОГО человека и семейная драма умеет быть ВЕЛИКОЙ...»

Эпиграфом к произведению Владимира Мазаева могли бы стать ветхозаветные слова из Книги Притчей царя Соломона:

«Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю: пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице».

Во всяком случае, уже потому, что автор в полной мере показал сразу две дороги из этого сокровенного списка.

Явления, объединенные в соломоновой притче, окружены ореолом загадочности и даже необъяснимости. Туманно и неприметно их движение, непредсказуема развязка. В то же время сквозь пелену возникает отчетливый авторский ответ, обнажается позиция кузбасского прозаика в части интерпретации первой любви Ф. М. Достоевского и его непростого брака:

«И забывается мудрый библейский совет хранить себя больше в молчании»...
«Комментировать сие я не в силах, ибо прильпне язык к гортани моей»...

Рассказ Мазаева занимает всего три журнальные страницы и состоит из двух частей. На первый взгляд, их объединение, как и слияние противоборствующих компонентов в названии, кажется причудой. Но это только на первый.

Сюжет строится в двух временных пластах, но в одном пространстве — городе Кузнецке-Новокузнецке. Он современный, но в то же время уже безвозвратно уходящий в прошлое. Писатель погружает нас в атмосферу весеннего города: действительно, когда, как не весной, будоражить сознание и эмоции, чинить лодки и размышлять о превратностях любви?

Повествование начинает разворачиваться в 60-70-е годы XX века. Эта часть рассказа посвящена пребыванию автора в гостях у знакомой супружеской четы — Антона Ивановича и Анны Ильиничны. Прожив долгие годы в мире, любви и согласии, они излучают терпение, приветливость и приятие окружающего мира. Супруги стали единым целым, как лодка, где трюм — женщина, а мачта — мужчина. Они будто бы выросли в родной берег и «срослись корнями».

Даже в их внешнем облике рассказчик обнаруживает общие черты:

«Он в старой брезентовой куртке, резиновых сапогах с круглыми велосипедными латками <...> Она в цветастом фартуке и глубоких калошах на босу ногу. Я замечаю на левой такую же, как у мужа, круглую аккуратную латку. И вспоминаю: года два назад я приезжал с надувной лодкой и потом оставил старикам велоаптечку, вот и пригодилась...»

Заметим, что супруги имеют одинаковые инициалы и говорят на «одном языке», хотя и без слов легко понимают друг друга:

«... Анна Ильинична певуче спрашивает:
— Ну, как сѣдни вода, надбыла или на мере?
— На мере, на мере, — отвечает Антон
Иваныч...»

Кузнецкие старики — это крепкий семейный союз. В. М. Мазаев наделяет их способностью хранить «рецепт» долговременного счастья и в то же время оказывает честь стать его непосредственным воплощением. «Семейство — это величайшая святыня человека на земле, ибо посредством этого закона природы человек достигает развития (то есть сменой поколений) цели», — размышлял Достоевский. Ему, в отличие от кузнецких провинциалов, не удалось стать счастливым в первом браке. Поэтому мазаевские Антон Иваныч и Анна Ильинична вполне могли бы быть примером многим парам, так и не сумевшим гармонизировать отношения.

Жизнь изменчива и быстротечна, как река в весеннее половодье, но счастье, считает Мазаев, всё-таки можно построить в отдельно взятой семье, даже на краю другого, неведомого и пугающего мира.

В этом смысле очень важно появление в художественном пространстве Мазаева образа края. Географически это — берег реки Кондомы, на котором проживают литературные герои. Мифологически — переходное пространство между земной реальностью и каким-то другим измерением, возможно — опасный обрыв, край света.

Во времена активного освоения водных просторов люди имели четкое представление о пределах своей территории, о твёрдой надёжной земле. Это понимание они пронесли через века и соединили с понятием «берег» — частью суши, требующей особой охраны от иноземцев. Поэтому связь таких слов, как «берег», «оберегать», «берегиня» была зрима. Герои Мазаева живут на своем берегу и сберегают скромное семейное счастье вопреки то и дело подступающей водной стихии:

«... — Откудова така прорва, прошлогод и то меньше было. Выбегла я как-то середь ночи, глядь — вода баню подмывает, у меня сердце так и рухнуло... А после ничё, ска- тилася...»

Не каждому под силу покинуть свой берег. По замыслу Мазаева, кузнецкие жители не нарушают водных границ и остаются на своем клочке суши.

«Укротить» неведомые воды, преодолеть не только сибирскую Кондому, но и реку времени Лету, предстоит их гостю — автору-повествователю, выполняющему функцию проводника по географическим, историческим, мифологическим, временным широтам.

Проводник может отправиться в любое опасное путешествие, но он держит курс в далекий XIX век, в мир Достоевского. Сопровождаемые им, мы добираемся туда на... лодке. И это совсем не случайно.

Образ лодки у В. М. Мазаева многогранен и символичен.

В первой части рассказа вместе с героями мы проходим необходимую и важнейшую стадию подготовки к путешествию — обязательный лодочный ремонт.

С тех пор, как наши предки впервые пустились на небольших самодельных судах покорять водные просторы, весенний ремонт лодок стал древним занятием, входившим в цикл календарных работ. Мазаев живописует этот поистине грандиозный и неторопливый процесс сочными мазками, как начальный этап ритуального приуготовления к путешествию. Смакуя, он даёт нам возможность рассмотреть всё в деталях: инструменты и материалы для починки, главные этапы, жесты мастера и неумелого новичка...

Время, кажется, замедляется, и движения производящих работы становятся ретардированными:

«Лодка просушена, на горбу днища разложены долота, скрученная в жгуты пакля, деревянные молотки. Рядом на низеньком тагане дымится в ведёрке вар. Отстёгиваю от своей городской рубашки запонки, закатываю рукава, беру молоток. Узкие сухие доски весело гудят под нашими ударами. Мои удары отрывисты и сбивчивы, Антон Иванович постукивает играючи, пакля входит в пазы легко, чисто. Поцарапанное взъерошенное днище пахнет тиной, таинствами речных глубин, романтикой путешествий. Потом мы цедим в щели пузырящийся раскалённый вар. Я орудую утюгом, горло дерёт от дыма. Дым скатывается под лодку, долго качается там. Покончив с днищем, устраиваем перекур. По днищу течёт агатовый блеск, оно похоже на спину гигантской снулой рыбы...»

Когда лодка готова, «*смущённый собственной нераспорочностью*» рассказчик предаёт ее воде. Начинается второй этап путешествия к Достоевскому.

Перемещение в период половодья представлено В. М. Мазаевым как движение вглубь. «*Плыву вглубь Топольников*», — уточняет он. На природных объектах, которые выхватывает взгляд проводника, лежит печать мистического и ирреального, чего-то темного и таинственного:

«Я плыву в Топольники, небо надо мной густеет, перехлёстнутое чёрными голыми ветвями. Ветер уходит в вышину, солнечные лучи буравят мутноватую глубину... Я смотрю на неколебимые, как колонны, тополя. Чёрные в обхват стволы поклёваны льдом, заскорузли от времени...».

Но разведывательная экспедиция по открытому водному простору оказывается ещё и путешествием по разновековым пространствам культуры. Повествователь значительно расширяет горизонты своего видения: усматривает «*золото крестов и зелёные купола белокаменного храма, в котором когда-то венчался Достоевский*», хотя его давно не существует. Возрождает в памяти личные истории, а также вполне правдоподобные легенды, в которые хочется верить: о джунгарской коннице, о появлении рощи чёрных тополей из оборонительных кольев...

На всех объектах, встречающихся по пути, лежат наслоения времени. Точно так же, как на мазаевском слове: постепенно понимаешь, что за нарочитой легкостью фраз стоит нечто большее, существуют другие уровни, уводящие «вглубь». И хотя язык произведения

лишен излишних сложностей и витиеватых конструкций, вовсе не бытово, а символически наполненно, звучат простые фразы мастера художественной прозы:

*«Лодки живут долго, по крайней мере, могут сказать о лодке Антона Мваньяча;
«Мы снова беремся за лодку»;
«Снова стучим молотками, и первобытный стук этот отдается в душе весенней музыкой».*

Мазаев словно уточняет: за словом кроются многие пласты, а безыскусные движения персонажей не исчерпываются физикой тела. Во всём — дух древнейших человеческих ремёсел и культур.

К зрительному восприятию проводника добавляется обонятельное. Это значительно осложняет дорогу, сбивает с толку:

«Опахивает волной винный дух преющего дерева. Тлут же уступает другому — горьковато-пьянящему запаху цветущего таволжника, которого отсюда ещё не видно. Эти запахи! Они пуще воспоминаний будоражат память, кружат голову. Я начинаю волноваться, бестолково верчусь — словно передо мной вот сейчас, сию минуту раскроется тайна, и я не переживу минуты, если упущу её».

Чтобы проскользнуть в другую реальность, следует укротить природные явления и нахлынувшие запахи, сдержать волнение и сосредоточиться на самом важ-

ном. И в этом проводнику помогает необыкновенная концентрация внешних и внутренних сил. По сложившейся культурной традиции, лодка изображена Мазаевым слитой в единое целое с перевозимым объектом — телом человека. Словно чудесный мост, она соединяет два мира, помогает постепенно войти в особую пограничную зону, в сферу теней и отражений на воде, где возможны диалоги с ушедшими:

«Тлопольники, как всегда в эту пору, захвачены наводком. Старые почерневшие деревья, раскинув кроны в осыпи ярко-красных серёжек, стоят в воде с мудрой отрешённостью; их тени на воде — их продолжение, только в другой плоскости».

Движение повествователя-проводника в лодке по темной весенней воде напоминает известный ритуал пересечения вод смерти. В сюжете переплывания душа умершего отправляется с проводником на лодке смерти в преисподнюю и возвращается назад на ладье воскрешения. Водное путешествие по Кондоме — своего рода ритуал поминовения усопших, с которым связывается представление о временном их возвращении.

Пробуждение к новой жизни, воскрешение из мертвых — характерный для Достоевского сюжет. И эта пасхальная мысль «гудит» у Мазаева всюду — в предметах ли повседневности, в самой ли сибирской природе:

«Узкие сухие доски весело гудят под нашими ударами»; «Лодка гудит, в воду шлёпается кусок коры»; «Подмытая где-то в вер-

ховьях берёзка плывёт так давно, что уже выбросила, как флаг, зелёную веточку»; «... трудно представить, что в них (в тополях — Е.М.), как и в плывущей, оторванной от земли берёзке, гудит пробудившаяся жизнь»...

Всем культурам известна лодка смерти — средство переправы умерших в потусторонний мир. Во многих странах она считалась ритуальным транспортом, обеспечивающим последний путь богов и людей. Древние верили: чтобы попасть в мир иной, нужно преодолеть воды смерти, то есть переплыть реку. У славян-язычников такая река называлась Смородиной.

Древний водный транспорт не только помогает проводнику достигнуть иных миров, но и приводит его к важной цели — обретению зёрен нового знания (но будет ли оно истинным — другой вопрос). Недаром в православной традиции лодка символизирует церковь. В этом смысле она принимает непосредственное участие и во внешнем путешествии личности, и во внутреннем — её духовном восхождении. Ряд новозаветных сюжетов, таких как хождение Христа по волнам, призвание апостолов Андрея и Петра, бегство святого семейства в Египет, невозможно представить без лодки. А ветхозаветный Ноев ковчег — ладья времен потопа, где сохраняется все сущее — вообще является воплощением спасения, чудесного возрождения и торжества жизни над смертью. Лодка, изображённая Мазаевым, отчасти выступает островком такой безопасности. В бушующем море жизни она становится материнским лоном, предохраняющей от бед и напастей колыбелью для «*научка-крестовика, сгорбившегося от горя*» на кусочке коры...

Постепенно образ лодки начинает осознаваться как метафора человеческой жизни. Важно устоять в штормах её страстей и искушений, обрести защиту и спастись. И Мазаев напоминает несколько жутких для юного Достоевского мгновений — предсмертные минуты на эшафоте, когда *«привязан к столбу, в глазах чёрная, могильная духота савана...»*

Аллегорический образ лодки — человеческой жизни и судьбы — не нов. Он нашел своё отражение в мировой литературе. Байрон, Жуковский, Лермонтов, Тэффи, Джером К. Джером, Туве Янсон и другие писатели прибегали к нему неоднократно. Но особенно близок он оказался украинским классикам: Тарасу Шевченко, Евгению Гребинке, Ивану Франко, Виктору Забиле...

Не стал исключением и кузбасский писатель Владимир Мазаев. Ему удастся «причалить» к особой писательской судьбе, на полях которой — и пересечение вод смерти, и воскресение из мертвых, и безвременье Омского острога, и бессрочная солдатчина в засыпанном песками Семипалатинске. И, конечно, первая любовь — *«грозное чувство»* к вдове чиновника Исаева. Жизнь гения мировой литературы он рисует как круговорот непредсказуемых событий, сложных ситуаций и мучительных вопросов. Именно об этом повествует вторая часть рассказа «Без слезы...». Она представляет взгляд Владимира Мазаева на события, произошедшие в середине XIX века с писателем и его первой женой Марией Дмитриевной.

Авторский стиль во второй части повествования меняется: становится неровным, сбивчивым, «перескакивающим» с одного на другое. Возможно потому, что писатель пытается разобраться в запутанном клубке личных отношений Достоевского, не перестает удивляться изломам его судьбы:

«... „шафером по жениху“ был не кто иной, как сам „соперник“, учитель Вергунов (невероятно, необъяснимо, но факт)»;

«И тут припоминается — и совсем некстати! — что в это самое время у него полыхает эмоциональнейший, на грани фолла, роман с юной взбалмошной „нигилисточкой“ Полинькой Сусловой...»;

«И следом, уже из Шурина (сентябрь 1863 года), горькое сетование брату Михаилу на то, что в очередной своей встрече с рулеткой он „проигрался весь, совершенно, дотла“. На что брат Михаил довольно логично ответил ему: „Как можно играть дотла, путешествуя с тем, кого любишь?“ (Хотя мог бы, кажется, позволить себе по-братски съязвить: ...и когда дома больная в чахотке жена...»)

Чтобы понять поступки великого романиста, Владимир Мазаев активно использует «чужое» слово. Видно, что он подробно изучил переписку литератора (послания к А. Е. Врангелю, В. Д. Констант, М. М. Достоевскому). В тексте ощущается «присутствие» и «Обыска брачного №17», и статьи Валентина Булгакова о коротких поездках писателя в Кузнецк и его венчании...

Тем не менее, на формирование позиции кузбасского автора значительно повлияли легенды, слухи и домыслы, якобы обнажающие истину в отношениях Достоевского и Исаевой. Среди них: существование записок Марии Дмитриевны к кузнецкому сопернику,

следование Вергунова в качестве любовника за Достоевскими по городам центральной России, внезапные встречи писателя с ним у себя дома, содержание предсмертной исповеди М. Д. Исаевой...

«Жалкая комедийная коллизия», — заключает Мазаев. Огорчительно, что авторский взгляд был затуманен не вполне достоверными, спорными источниками: воспоминаниями дочери Достоевского Любови Федоровны, известной своим предвзятым отношением к М. Д. Исаевой, вольными толкованиями документов и фактов М. М. Кушниковой и В. В. Тогулева, а также недостоверными зрительными образами московских кинематографистов — создателей сериала «Достоевский», пожелавших якобы по-достоевски «раскрутить» малоизвестный сюжет.

Подчас желание домыслить, заполнить пустоту, «дотянуть» что-либо до собственной гладкой версии превращает слова в их противоположность. А когда эта противоположность возводится в истину, уже влияющую на мнение других, невозможно до конца разобраться, ложны или нет кусочки собранного когда-то «пазла», и кто прав, кто виноват. Конечно, каждый имеет право на собственное мнение, на интерпретацию источников, но хотелось бы подчеркнуть: правда жизни и художественная правда — разные вещи, поэтому никто не знает, *«как слово наше отзовётся»*...

Изумление и невозможность судить (ибо *«не судите, да не судимы будете»*), попытка понять и отсутствие понимания, приводят автора рассказа к смешению и искажению некоторых биографических фактов, к принятию сомнительных «истин».

Так, без особенных колебаний, В. М. Мазаев включает в текст воспоминания Любови Федоровны Достоевской об обвинениях, брошенных смертельно больной, бредящей Марией Дмитриевной ее отцу:

«каторжник», «бывший преступник», «не человек-дьявол». Было ли это на самом деле? Сказать сложно. И если да, то можно ли всерьез воспринимать слова человека, произносимые в бреду перед кончиной?.. Следует ли доверять дочери писателя, ревновавшей к его памяти и, к тому же, родившейся спустя пять лет после смерти Исаевой, то есть вообще не знавшей её?

Доскональное знание нюансов «кузнецкой драмы» не позволило бы Владимиру Мазаеву соединить и два совершенно разных события: смерть Александра Исаева, которого пришлось похоронить на чужие деньги («нужда руку толкала принять и приняла подаяние», — писала об этом вдова) и некое выдуманное автором обвинение, брошенное будто бы в адрес Достоевского Марией Дмитриевной (теперь подаяние она принимает не от сердобольных кузнецан, а от самого писателя — становится его женой):

«И она — не то защищаясь, не то нападая, а скорее — от смертельно-невыносимой затянутости узла, бросала ему в его искажённое «нервною болью» лицо: «Да, я полюбила его! ...до нашего ещё венчания! И ты об этом знал!.. Если бы не нужда, проклятая... руку толкнула... принять твоё подаяние!.. У тебя нет сердца! Ни одна порядочная женщина не могла бы любить бывшего преступника!.. Ты не человек — дьявол...»

Стоит ли быть столь категоричным и не доверяющим интуиции Достоевского? Следует ли ставить под

сомнение личный выбор признанного знатока человеческих душ:

«Какие слова находит он, непревзойдённый словотворец? Что та, которую он с малолетним сыном увёз от нищеты, от „поганого общества“, от вечного прозябания в захолустной дыре, — размазала его как тряпку? Что сам он — жалкий слепец, считавший её преданной, подвенечной женой?»

Если бы автор рассказа обратился к дневниковой записи Достоевского 1864 года, созданной у гроба супруги, или к письму другу Врангелю, вышедшему из-под пера через год после трагических событий, возможно, всё было бы иначе...

Но стоит ли судить немного заплутавшего и тоже ушедшего от нас проводника?..

Может, пришла пора разобраться во всём самом, ведь *«всему свое время, и время всякой вещи под небом»?*..

«...Время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть...»

Время бездействовать и время чинить лодки...